

В. П. АДРИАНОВА-ПЕРЕТЦ

Древне-русская литература и фольклор

(К постановке проблемы)

1

Проблема взаимоотношения в древней Руси литературы и фольклора — это проблема соотнесения двух мировоззрений и двух художественных методов, то сближавшихся до полного совпадения, то расходившихся по своей принципиальной непримиримости. Свойственное писателю и народному поэту отношение к исторической действительности, оценка ими событий и лиц, задачи художественного отражения жизни в слове и методы, которыми эти задачи осуществляются, — вот что составляет основной предмет сравнительного изучения исследователя, поставившего перед собой проблему взаимоотношения древне-русской литературы и фольклора.

Большинство древне-русских писателей, в отличие от народных повтов, в гораздо большей степени отразили в своем творчестве воздействие морально-философской теории христианства, как основной формы феодальной идеологии, и лишь немногим удавалось вырваться из ее плена. Разумеется, это воздействие было далеко не одинаковым в разной классовой среде, в разные исторические моменты и в разных литературных жанрах; жизненная практика демократических слоев общества вступала часто в непримиримое противоречие с этой теорией, возвращая писателя к тому народному отношению к действительности, какое отражено в лучшей части фольклора. В самом деле, внедрявшаяся в сознание древне-русского человека морально-философская теория христианства, поддерживая идеологию правящих классов феодального общества, требовала иных жизненных идеалов, иного отношения к действительности, иных качеств человека, чем те, какие выражены в творчестве трудового народа. Вместо активных качеств героя, помогающих ему в сказке и в героическом эпосе преодолевать препятствия, религиозная теория требовала пассивных „добродетелей“ — смирения, покорности „воле божией“ и властям; счастья учила искать не на земле, а в будущей „вечной“ жизни; здоровому оптимизму народного творчества,

его жизнеутверждающим тенденциям противопоставлялся идеал отречения от радостей жизни и т. д. Показать борьбу в литературе и отчасти в фольклоре этих двух враждебных друг другу мировоззрений — значит приблизиться к определению сущности проблемы взаимоотношения писателя и народного поэта древней Руси. Что их сближало, в каких пределах, и что отдаляло друг от друга? В свете решения этих основных вопросов мировоззрения получают должное объяснение и наблюдения над общими элементами и тенденциями в художественном стиле литературы и фольклора средневековья, с одной стороны, и над своеобразными чертами этого стиля, свойственными лишь каждой из этих областей творчества, — с другой.

Вопрос о реалистическом и антиреалистическом, идеалистическом начале в художественном стиле древне-русской литературы неразрывно связан именно с этой борьбой двух мировоззрений. В своем стремлении к реалистическому писатели приближались к лучшей части устного эпоса, и тогда, например, в рассказе о Куликовской битве события изображались в полном соответствии с действительным их ходом (ср. *Задонщину* и *Сказание о Мамаевом побоище*, где победу приносит выступление засадного полка); когда же берет верх идеалистическая „философия истории“, продиктованная религией, — автор переходит на язык антиреалистической церковной фантастики, и вместо засадного полка на поле битвы выходят „святых мученик полки“, во главе с „воинами“ Георгием, Борисом и Глебом, Дмитрием Солунским и „архистратигом Михаилом“; так возникает истолкование величайшей победы русского оружия, не имеющее ничего общего с народной оценкой этого события.

Родство подлинно-народных памятников древне-русской литературы с творчеством трудового народа возникает тогда, когда писатель и народный поэт сходятся в своем отношении к исторической действительности, в оценке событий и лиц. Такого рода совпадение передовой литературы русского средневековья и лучшей части фольклора наблюдается по преимуществу в наиболее острые моменты жизни государства, когда общая опасность угрожает его свободе и независимости, или происходят общественно-политические события, в которых заинтересованы широкие массы трудового народа.

Народность Слова о полку Игореве и его глубокое внутреннее родство с фольклором не в том, что писатель воспринял отдельные художественные приемы устной поэзии, а в том, что его протест против княжеских усобиц, скорбь о Русской земле, на которую „погании с всех стран прихождаху с победами“, — отражали прежде всего интересы тех „ратаев“, которые от „княжих крамол“ „ретько кикахуть“. Повесть о разорении Рязани Батыем „фольклорна“ прежде всего потому, что ее автор противопоставил мистическим настроениям своих напуганных современников твердую веру в народные силы, которые могут дать отпор завоевателям. Этой „фольклорности“ нисколько не противоречит то, что своего неустрашимого героя Евпатия Коловрата и его дружину автор определил

библейской формулой, обычной в „воинском“ стиле древне-русских писателей: „един бяшешя с тысящею, а два с тьмою“. Родство „Казанской истории“ с народным творчеством не в том только, что она вводит фольклорные эпизоды, а в числе художественных средств использует и устную поэтику, а в том, что ее автор сошелся с народной исторической песней и сказкой в самой оценке личности Ивана Грозного, который „праведен суд судити научи“, „многих велмож устраши, от лихоимания и неправды обрати“. Именно эта оценка и вовлекла в пышную речь „красной и сладкой“ повести о взятии Казани художественные средства фольклора.

Так, установление внутреннего родства древне-русской литературы, в ее лучших образцах, с фольклором вскрывает характер ее народности. Исследование связи литературы и фольклора, независимой от какого бы то ни было прямого „влияния“ и выражающейся в общности их отношения к действительности, приводит и к вопросу о сходстве самого художественного метода отражения этой действительности у писателя и народного поэта.

Например, некоторым памятникам литературного эпоса, как и устному эпосу русского средневековья, одинаково свойственна гиперболизация действительности, за которой стоит определенная оценка реальных фактов. Этот своеобразный метод художественного отражения действительности выполняет различные функции и должен быть изучен во всех его многообразных проявлениях как в литературе, так и в фольклоре. Образы князей Слова о полку Игореве, к которым обращается автор с призывом выступить „за землю Русскую“, представлены с блестящим знанием политической обстановки конца XII в., и вместе с тем они гиперболизированы, чтобы подчеркнуть силу, могущество, власть этих князей — все то, что должно было, по мысли автора, объединиться для борьбы с наступающей „степью“. Гиперболизированные воинские картины усиливают впечатление от трагического столкновения русских дружин с половецкими войсками. Евпатий Коловрат в рязанской повести, бесстрашно разъезжающий среди огромной батыевой рати, „исполни силою“, который „многих нарочитых багатырей батыевых побил, овых на полы пресекаше, а иных до седла крояше“, богатырь, на которого „навадиша множество пороков“ и только тогда, когда „начаша бити по нем ис тмочисленных пороков, едва убища его“, — это такой же гиперболизированный образ, как и Всеволод Слова о полку Игореве, способный „Волгу веслы раскропити, а Дон шеломы выльяти“, как, с другой стороны, и герои устного эпоса и сказки, в одиночку борющиеся против чудовищ и полчищ врагов. Илья Муромец и Иван царевич, одолевающие любую силу, — это обобщенные образы, доказывающие превосходство защитника перед захватчиком, человеческого ума, смелости — над неразумной „колдовской“ силой. Так и в литературе условно преувеличенные образы могут выражать активное отношение к жизни, веру в силы, способности и моральные достоинства человека. Такой вид гиперболизации действительности в литературе созвучен подлинно народному творчеству.

Гиперболизация определенных сторон действительности у каждого автора неразрывно связана с его классовым сознанием, и задачей исследователя должно быть выявление таких фактов, которые сближают „эпическое“ сознание древне-русского писателя и народного поэта в его целеустремленности.

Общность художественного метода древне-русской литературы и фольклора, независимая от непосредственного „влияния“, возникает иногда и потому, что обе разновидности словесного творчества опираются на одно и то же явление действительности. Например, отражая реальную историческую действительность, ряд повествовательных памятников древней Руси с XI до начала XVII в. облачают горестные настроения изображаемых лиц, по поводу событий и общественной и личной жизни, — в форму плачей-причитаний, т. е. в ту самую форму, в какой и в быту они проявляли эти настроения. Поскольку и в жизни эти „причитания“ не только имели вид индивидуального выражения эмоций, но и пользовались отстоявшейся постоянной фразеологией, выростали в своеобразно построенные лиро-эпические сказы, — и писатели подчинялись иногда отдельным элементам этого устного „жанра“. Однако нельзя самый метод изображения горестных переживаний через плачи вести прямо от фольклора. В данном случае этот „прием“ идет непосредственно от жизни, где причитание было в известных случаях обязательным обрядом, соблюдавшимся, хотя и не в одинаковом объеме, в различных слоях общества. Отражение в литературе отдельных элементов уже устоявшихся форм устных плачей, т. е. фольклора, было явлением вторичным, неразрывно связанным с отражением самого быта. Однако мы найдем немало плачей в древне-русской литературе, в которых нет таких прямых признаков связи с поэтикой устных причитаний, и тем не менее устойчивость самого способа выявления настроений героев именно через плачи продолжает сближать долго литературу и фольклор.

В противовес этой близости, в XV и особенно в XVI—XVII вв. у некоторых писателей обнаруживается стремление заменить в соответствующих положениях плач-причитание канонической или свободно изложенной молитвой. В „Сказании о Мамаевом побоище“, например, княгиня Евдокия, проводив Димитрия в поход, уже не причитает, а молится. Так и в „Казанском летописце“ казанская царица всегда выражает свое горе плачем-причетью, а русская царица иногда заменяет плач молитвой. Созданный официозной литературой в XV—XVI вв. образ примерно благочестивой царской семьи не только удалил „благоверную, христолюбивую“ княгиню-царицу от фольклорного типа горюющей женщины, но, вероятно, и от жизни. Подчинившись закономерно выросшему в новых исторических условиях литературному канону, авторы некоторых исторических повестей стали вообще вводить в изложение частые молитвы, подчеркивая благочестие своих героев, и причеть-плач как непосредственное выражение горя уступила место молитве.

В бытовой обрядности коренится, видимо, и происхождение княжеских „похвал“, которые в русской исторической литературе начинают выде-

ляться с XII в. В быту им соответствовали величанья — „славы“, о которых упоминает и летопись. Материал для книжных „похвал“, как и для устных „слав“, давала, конечно, историческая действительность, а в самом способе претворения этого материала в устных и письменных одах средневековья одинаково видно сознательное стремление к идеализации: выделяются и преувеличиваются определенные черты характера и поведения восплаемого лица, замалчиваются другие, и таким способом создается образ, соответствующий классово-эстетическому сознанию каждого автора, его общественно-политическим устремлениям. Этот прием идеализации, направленной к созданию определенного образа, наделенного и реальными, но гиперболизированными чертами, и „желательными“ с точки зрения идейного замысла автора качествами, аналогичен у народного поэта и у некоторых писателей средневековья. Задача исследователя — вскрыть историческую обусловленность такой аналогии, показать ее связь с самой целеустремленностью данного типа словесного творчества — устного и письменного.

Литературоведение должно представить характер, границы и причины сближения тех или других приемов отражения действительности в творчестве древне-русского писателя и народного поэта и в то же время определить качественные отличия между функцией каждого из этих совпадающих приемов в каждом отдельном конкретном случае.

2

Литературоведение уделяет обычно преимущественное внимание случаям прямого соприкосновения книжного и устного творчества, т. е. тем случаям, когда в литературе XI—XVII вв. обнаруживаются более или менее ясные следы определенных устно-поэтических произведений, или в фольклоре — отголоски книжных памятников. Большинство сделанных наблюдений, по самому характеру сохранившегося древне-русского литературного материала, падает на исторические жанры и на разнообразные виды повестей — историко-бытовых, историко-легендарных, бытовых и легендарных. Однако в самом методе подобного рода сопоставлений книжного и устного немало было порочного.

Традиционный путь сравнительного изучения литературы письменной и устной — сопоставление сюжетов, мотивов, художественных „приемов“, фразеологических сочетаний и даже отдельных слов. Это сопоставление часто производится механически, в отрыве от исторической действительности, создавшей памятник, вне связи с общим замыслом, композицией, вне исследования функции каждого из сравниваемых элементов, и вопрос о самой сущности родства литературы и устной поэзии даже не ставится.

Литературоведением накоплено довольно много примеров непосредственной сюжетной связи литературы и фольклора в XI—XVII вв., однако далеко не все они получили надлежащее объяснение в их отношении к идейной, классовой сущности изучаемых памятников. Причина

этого серьезного пробела прежде всего в том, что и четких классовых определений недостает во многих разделах истории древне-русской литературы, а вопрос о классовых корнях средневекового фольклора лишь намечен. Уже и те наблюдения, которые сделаны в настоящее время, показывают, что фольклор в древней Руси творился в самых разнообразных слоях общества, с разными задачами, что фольклора вообще, с единой целеустремленностью, с единым отношением к действительности не было даже в пределах каждого отдельного исторического момента. Классовая борьба, в ее своеобразных для эпохи феодализма формах, по-разному освещалась и отражалась в устном творчестве в разных социальных слоях. Между тем даже такой насыщенный прямыми отзвуками исторической действительности устный жанр, как эпос, безусловно недостаточно изучен с точки зрения классовой направленности. Выводы В. Миллера и исторической школы никак не могут удовлетворить в этом отношении современного исследователя. Еще менее изучена с этой стороны сказка. Сложен и часто противоречив состав русских пословиц, даже относящихся к одному периоду истории, а ведь они особенно охотно привлекались древне-русскими писателями.

Итак, четкая классовая характеристика всего этого устно-поэтического наследия древней Руси — первоочередная, неотложная задача, чтобы в каждом отдельном случае исследователь мог с определенностью показать, фольклором какого класса воспользовался писатель, сохранил или изменил он самую сущность использованного устного материала, и чем вызвано его отношение к этой сущности. Следует также иметь в виду, что не каждый период средневековья отразил в литературе классовую неоднородность фольклора.

Но и в тех случаях, когда писатель обнаруживает знакомство с подлинно народным творчеством, с лучшей частью поэзии трудового народа, он не всегда органически сливает свой замысел с народным, стремясь иногда затушевать именно существо своего устного источника, выражая во внешне „народной“ форме чуждое народу мировоззрение и отношение к действительности. В конечном итоге наблюдения этого рода приведут историка древне-русской литературы к заключению, что не всегда внешняя фольклорная окраска литературного памятника является признаком прогрессивности его, что элементы фольклора — но не его внутреннее идейное существо — по своему использовали и реакционные направления средневековой литературы.

При анализе каждого конкретного случая нужна крайняя вдумчивость и осторожность в оценке идейного — классового смысла слияния фольклора с литературой, чтобы не упростить проблему и не представлять в виде восходящей линии в древне-русской литературе все то, что так или иначе было связано с фольклором, а в виде нисходящей — то, что прямо и непосредственно с ним не соприкасается, хотя внутренне и не противоречит подлинно народному. Что, как, по-

чему и с какой целью из многообразного и классово неоднородного фольклора отбирал писатель, — все это, в своей основе, вопросы классового осмысления устного и письменного наследия древней Руси.

Если наша наука не раскрыла еще в должной степени классовой дифференциации древне-русского фольклора, то лишь начинается работа и над историческим изучением его собственно художественных элементов. Но уже и на данном этапе работы можно утверждать, что качество и функции многих из этих элементов в фольклоре XI—XVII вв. были иными, чем те, какими они стали в передаче нового времени. На истории фольклорного эпитета это показано А. П. Евгеньевой с большой убедительностью.¹ Отсюда ясно, что сопоставлению сходных поэтических приемов литературы и фольклора должно предшествовать изучение устной поэтики в историческом плане, притом не только со стороны состава и количества тех или иных приемов, но и с точки зрения той функции, какую одни и те же приемы выполняли в фольклоре разных периодов и разных жанров.

При стилистических сопоставлениях книжной и устной фразеологии нередко также упускается из виду, что у писателя и народного поэта была общая почва, на которой оба творили, общий запас художественных средств, который служил тому и другому для воплощения своего замысла. Этой общей почвой был живой русский язык, во всем его классовом и диалектном многообразии, во всех его разновидностях, выработанных различными потребностями исторической действительности.

Уже первые памятники русской письменности показывают, что до-письменный русский язык обладал исключительным богатством лексики, органически присущей ему выразительностью, устоявшейся фразеологией воинской, юридической и дипломатической практики. Элементы всех этих разновидностей живого русского языка, формировавшихся вне книжности, можно извлечь из древнейших документов, памятников законодательства, из летописи, но также и из собственно художественной литературы XI—XII вв.

Изучая „деловой“ язык древней Руси, как он отражен прежде всего в памятниках чисто практического назначения, мы отмечаем в нем не только точность и ясность, но и особую выразительность (которая сейчас ощущается нами как своеобразная „образность“), характерно отличающуюся от специфической „сладоности книжной“, но близко напоминающую выразительность устно-поэтического языка.

Когда акад. А. С. Орлов писал, что „вполне литературных произведений дошло до нас немного, и все те художественные манеры, которые были в средневековье, несомненно до нас не дошли полностью,

¹ О некоторых поэтических особенностях русского устного эпоса XVII—XIX вв. (постоянный эпитет). Труды Отдела древне-русск. литературы ИЛИ АН СССР, т. VI. Л., 1948, стр. 154—189.

а в то же время они были“¹ — он имел, очевидно, в виду именно эту особенность древне-русского языка, отразившуюся даже в документах, отнюдь не стремившихся к художественности изложения. И если тот же автор утверждал, что „и памятники не литературного назначения можно изучать в интересах литературоведения“², то это утверждение должно быть понимаемо не в том смысле, что „не литературные“ памятники необходимо на равных правах вводить в историю литературы, а в том, что язык этих памятников подводит нас к пониманию сущности того живого русского языка, средствами которого, в определенном отборе и каждый со своими целями, пользовались и писатель и народный поэт и на котором они воспитывали свой вкус к художественному слову.

При использовании в литературе живого русского языка создавалось иногда разительное сходство между литературным и фольклорным применением одних и тех же, свойственных языку в целом, выражений. Однако нет надобности в таких случаях даже и ставить вопроса о том, какая область словесного творчества „влияла“ на другую — фольклор на литературу или наоборот.

Но для того, чтобы снять самый этот вопрос, необходимо основательно разобраться в том, какие же явления следует относить к области языка в целом, какие представляют специфическую принадлежность книжного литературного языка и, наконец, что можно считать своеобразным приемом устно-поэтической речи. Вся эта группа вопросов требует настоятельно помощи литературоведам со стороны лингвистов и фольклористов. Насколько плодотворным окажется такое сотрудничество, видно из публикуемой ниже статьи А. П. Евгеньевой („Язык русской устной поэзии“). Внимательный анализ так называемых синонимических сочетаний — парных, бессоюзных (типа „знаю-ведаю“, „путь-дорога“, „бой-драка“ и т. п.) приводит автора к выводу: сочетания синонимов — явление, свойственное и характерное почти исключительно устному творчеству, а отнюдь не языку в целом. Они в письменной литературе и разговорном языке очень редки и представляют собой заимствования из устной поэзии.

В хорошо разработанной именно советскими литературоведами методике параллельного изучения литературной и фольклорной трактовки данного сюжета, мотива или образа справедливо отводится внимание установлению не только сходства, но и качественного отличия в восприятии одних и тех же фактов действительности в письменной и устной традиции. Если же совпадение оказывается полным или наблюдается в основных чертах, тогда перед исследователем встает вопрос: что так сроднило писателя и народного поэта?

¹ Древняя русская литература XI—XVI вв., М.—Л., 1937, стр. 10.

² Там же, стр. 11.

Насколько интересные результаты дает сопоставление функции фольклорных эпизодов внутри одного и того же литературного жанра, но в разные периоды его жизни, — видно, например, из публикуемой ниже статьи Д. С. Лихачева „Летописные известия об Александре Поповиче“. Отметив, что устный эпос дважды в истории летописания особенно широко вливался в летопись — в XI и в XV вв., — Д. С. Лихачев видит общую причину этого явления в том, что именно в эти моменты летопись, как и устный эпос, наиболее отражает общенародные интересы. Однако самое взаимоотношение летописи и устного эпоса, как определенных форм, в XI и в XV вв. было различным. В момент создания летописи народный эпос имел уже вполне сложившийся вид — „устные летописи“ народа были старше его письменной истории. Поэтому „в XI в. фольклор оказывал воздействие и на самую форму летописных записей, имел существенное значение в формировании летописного жанра... В XV в. форма летописи устоялась; устоялась, как вполне отличная, своеобразная, возможно стиховая, и форма эпоса, которая, следовательно, не могла воздействовать на чуждую ей, глубоко отличную летописную форму“. Но „с другой стороны, в XV в. устный эпос формировался под влиянием тех же объединительных идей, которые были движущей силой всей русской жизни XV—XVI вв.“ (стр. 50), и которые, добавим, именно и вовлекли эпические эпизоды в изложение летописца. Восстановленная Д. С. Лихачевым история сюжетов былин об Александре Поповиче показывает их движение „от узко местного к общерусскому“, расцвет этого движения в XV в., т. е. представляет полное соответствие тому, что наблюдается и в истории летописания: от местных летописей периода феодальной раздробленности к общерусскому летописанию XV в. „Реальное основание этой общей судьбы некоторых памятников устного эпоса и летописи в XV—XVI вв. — объединение в единое общерусское централизованное государство местных русских княжеств“ (стр. 51).

Разнообразные виды отражений фольклора в древне-русской литературе — факт неоспоримый. Однако антинаучный метод имманентного объяснения литературных явлений из литературных же фактов приводит нередко к тому, что факты национальной истории, лежащие в основе многих древне-русских повестей и сказаний, игнорируются; литература отрывается от жизни, ее создавшей, всюду отыскиваются готовые, сложившиеся устно-поэтические сюжеты или мотивы. В наследие от буржуазного компаративистского литературоведения осталось немало антинаучных попыток возводить древне-русские литературные памятники к таким готовым „бродячим“, „странствующим“ сюжетам. Решительная борьба с такими пережитками космополитизма в литературоведении — неотложная задача советской науки.

Например, в исторической и повествовательной литературе нередко встречаются эпизоды, рассказывающие о проникновении воинов в лагерь противника то переодетыми, обычно кучцами, то скрытыми под какой-

либо поклажей в лодках, на возах. Порочный метод компаративистов отрицал начисто реальную историческую основу таких рассказов и представлял их „вариантами“ „международного бродячего“ сюжета. Так, в эту цепь вариантов включался рассказ старшей русской летописи под 880 г. о взятии Киева Олегом с помощью обмана: Олег, подплыв к Киеву „в лодиях“, назвался „гостем“, заманил владевших городом Аскольда и Дира. Между тем военная хитрость, описанная в этом рассказе, проста и естественна для выполнения замысла Олега, и нет никакого основания отрицать реальный исторический факт, сохраненный в народном предании.

Настойчиво возвращаясь к идее имманентного развития литературы, компаративизм пытался вывести из того же „бродячего“ сюжета полный бытовых реалий исторический рассказ Софийской второй летописи под 1446 г. о том, как, во время усабицы князя Василия с племянниками, князь Иван Можайский с воинами проникли в Троицкий монастырь, скрывшись на возах: князь „повеле сани многие изрядити, как возы с рогозинами, а иные с полстьми, а в них по два человека в доспесех, а третий после идет, как бы за возом. И как переднии уже минуша их (т. е. ратных сторожей великого князя Василия), и тако выскакаша вси из саней и изымаша их“. Совершенно очевидно, что весь этот рассказ — отнюдь не литературное украшение, что за ним стоит подлинная историческая действительность: борющиеся стороны несомненно прибегали к подобному рода уловкам, обманывая противника.

Древне-русская литература далеко не использована еще и как источник для истории фольклора в средние века. Имея записи устных произведений лишь от XVII в. и только предположительно по этим текстам заключая о наличии оригиналов их в рукописях XVI в., мы должны с особым вниманием отнестись к тем данным литературных памятников, которые позволяют судить о содержании и поэтической форме устного народного творчества.

Вот, например, автор Слова о полку Игореве, вспоминая поэтическую манеру народного певца „слав“ князьям Бояна, строит примерный запев, которым Боян начал бы свою песнь о походе Игоря Святославича: „Не буря соколы занесе чрез поля широкая; галици стады бежать к Дону великому“. Есть все основания считать, что автор Слова хорошо помнил песни своего предшественника и что, следовательно, он воспроизвел в данном случае какую-то чрезвычайно характерную черту поэтического языка Бояна. В форме отрицательного сравнения он приписал этому языку символику, построенную на образах соколиной охоты, которые потом сам он широко использует и в своем художественном стиле. Отсюда, с значительной долей вероятности, можно вывести заключение, что символы „сокол“ — воин, князь, „галици“ — враги принадлежали устной поэтике и что традиция применения этих символов, как и формулы отрицательного сравнения, имела уже по крайней мере столетнюю давность ко времени написания Слова о полку Игореве (перечисленные в Слове герои песен Бояна жили в XI—начале XII в.).

Литературные памятники сохраняют иногда следы фольклорных произведений, которые не дошли в поздних записях. Например, среди исторических песен нет таких, которые прямо относились бы к событиям, связанным с Куликовской победой. Между тем, в одном из списков XVII в. „Сказания о Мамаевом побоище“ (Собрания Уварова, № 802, Гос. Исторический музей) покойный проф. С. К. Шамбинаго выделил три отрывка былинного склада. Исключив в них некоторые слова очевидно позднего происхождения, нарушающие строй песенного ритма, мы обнаруживаем отрывок не сохранившейся в устной передаче былины о походе новгородцев в 1380 г. „на пособь“ князю московскому для участия в Куликовской битве и два отрывка — о татарине, выехавшем на поединок с Пересветом, и описание боя.¹ Отрывки первого былинного эпизода сохранились и в Задонщине, хотя и в сильно сокращенном виде.

Историческая песня о смерти князя Михаила Скопина-Шуйского целиком вошла в книжное „Писание о преставлении и о погребении князя Михаила Васильевича Шуйского рекомаго Скопина“.² Устранив из литературной передачи книжные добавления, можем восстановить довольно точно облик этой старшей песни о смерти Скопина, полнее передающей рассказ о его отравлении, чем все сохранившиеся в устной передаче варианты, не исключая и старшей записи в сборнике Кирши Данилова.

Первые следы фольклора о Ермаке сохранились в Сибирской летописи, так называемой Строгановской, XVIII в., причем песня о сборах в поход и об убийстве царского посла передана с сохранением ритма, а дальнейший текст песни входит лишь отдельными выражениями в пересказ.³

Приведенные примеры — наиболее яркие случаи сохранения эпических песен почти в их подлинном виде. Они дают ценный материал для некоторых заключений о форме — поэтике и ритмике — былевых и исторических песен в XVI—XVII вв., наряду с записями этого времени. Однако в такой относительной сохранности фольклор доходил в литературе редко. Тем не менее извлечение из древне-русской литературы всего, что может приблизить нас к представлению о самом звучании фольклора в средние века, — неотложная задача.

Древне-русская литература может обосновать и более сложные выводы об исторических изменениях фольклора. На примере анализа литературных отголосков устных преданий о ростовском богатыре Александре Поповиче, произведенного ниже Д. С. Лихачевым, мы убеждаемся в важности литературных данных для решения и таких сложных вопросов,

¹ С. К. Шамбинаго. Повести о Мамаевом побоище. СПб., 1906, стр. 301—302.

² П. Васенко. Повести о князе М. В. Скопине-Шуйском. Отчеты Общества любителей древней письменности за 1903—1904 гг., стр. 19.

³ См. статью: Д. С. Лихачев. Сибирское летописание. История русской литературы. Изд. Института литературы АН СССР, т. II, ч. 2, М.—Л., 1948, стр. 276.

как переход от местного, областного эпоса к общерусскому, как циклизация эпических преданий. Выясняющаяся на данном частном примере общность судьбы некоторых памятников народного эпоса и летописи в XV—XVI вв. — это лишь один из многих ценных исторических выводов, которые ожидают исследователей всей в целом проблемы „древне-русская литература и фольклор“.

В задачу настоящей статьи не входит исчерпывающее перечисление всех частных тем, из каких складывается в целом проблема „древне-русская литература и фольклор“. Цель статьи — наметить основные направления, по которым предстоит идти исследователям к решению вопроса о том, как проявлялось классово-эстетическое сознание древне-русских писателей в их отношении к устной поэзии средневековья во всем ее многообразии.